ИСПОВЕДЬ НОВОЙ ПЕНЕЛОПЫ

Всё, что мне остаётся: ждать, когда он вернётся сам,
побродив по горам, по лесам, по чужим дорогам,
и шепнёт, возвращаясь, на ухо: «открой мне себя, сезам...»,
и коснётся плеча оголённого ненароком,

и в стручке пересохшего сердца внезапно начнёт стучать
первозданная нежность, с которой почти не была знакома...
Но пока его нет, режет глаз горизонт, как ножом, и морская гладь
подступает к сандалиям, вязкая, липкая, словно кома.

Я смотрю его сны, не меняя постели, в которой спал,
зарываюсь в подушку с мечтами, покуда его галера,
натыкаясь на чудищ, качается подле зловещих скал,
и ношу его вещи громаднейшего размера...

Я ращу его сына, завидую обнятой, той, другой,
с кем он бродит вдали от меня неизвестным заморским садом,
но во сне он приходит неслышный, как тень, и, совсем нагой,
словно верная псина, устало ложится рядом.

И тогда мне, по сути, не важно, кто раздевал его догола,
и к кому он посватался нынче, к Калипсо, или к Елене!
Звездочёт убедил меня в том, что, поскольку земля кругла,
долгий путь от меня приведёт беглеца под мои колени...

КОЛЫБЕЛЬНАЯ КУКУШОНКУ

Птица сизая, кукушка, маленький пророк,
над убогой деревушкой с моря ветерок
с росным ястребом резвится, треплет алый мак,
сколько жить — не важно, птица, важно — с кем, да как.

Птица вольная, кукушка, полно куковать,
горьких слёз полна подушка, льются за кровать,
лапку цепкую кольцуя, привяжу письмо,
не зову, не кличу всуе, не дойдёт само.

Знаю всё про птичьи страхи: ястреб невсыпущ,
и гнезда от хищной птахи не закрыть на ключ,
дай, птенцов покараулю, без тебя поспят,
ты ж, покамест все уснули — в город и назад.

Злые сплетни дёргать станут перья из хвоста,
мол, тоска больная тянет птицу из гнезда
на бескрылую пирушку, в молодую рожь,
и добавят: «Мать — кукушка, что с неё возьмёшь».

Ты ж, кукушка, их не слушай, слушай детский плач,
в дом влетишь, на всякий случай, песню в клюве спрячь
от завистливой прислуги — дам зерна за труд,
в доме бродят злые слухи, песенки крадут.

А когда из детской сгинут все, кто детству чужд,
на кровать лети, лети над воинством причуд,
кукушонку в руки прямо, баюшки-баю,
и скажи: прислала мама колыбельную.

ЧЕРТОПОЛОХ

Так вкапывает на холме пророк
тяжёлый крест в Андреевскую глину,
так месяц белоснежный коготок
вонзает небу в бархатную спину,

чтоб разорвать глухую темноту,
так я расту, и в город мой врастаю,
простой колючкой в каменном аду
живу, шипы до боли заостряя.

Не вырвать из земли, не прополоть,
не выжечь стебелька монгольским игом.
Закрученных корней тугая плоть
со склепами срослась, назло интригам,

и намертво вросла в змеистый вал,
пока смотрела я из куролепа,
как идол из Почайны выдыбал
и плыл лицом худым и мокрым в небо.

Огонь лилово-алой головы
пылает в лысогорском перелеске —
то тянут вверх, над иглами травы,
упрямый нрав и гонор королевский.

Хотелось уничтожить, видит Бог,
рванули с корнем — руки исколола!
Кровавый мой, сухой чертополох
прилип к оборкам старого Подола.

ИСПОВЕДЬ ЛЫБЕДИ, НЕКОГДА КРУПНОЙ СУДОХОДНОЙ КИЕВСКОЙ РЕКИ

Я вскоре стану, как ручей —
прозрачной, чистой и ничьей
послушницей-женой.

В речном раю плохая связь,
и ты родство утратишь, князь,
с единственной княжной.

Как заживём?
Как знать, как знать:
Ни приручить, ни в дом позвать,
ни выгнать за порог.

Понятней станет пескарям
и старым, ржавым якорям
чудной мой говорок.

И ты — теперь ни сват, ни брат, —
сестре родной не будешь рад,
я стану лишним ртом.

И жить уйду, себя стыдясь,
в подземный терем, светлый князь,
и видеть сны о том,

как, собирая в пятерню
ручьёв журчащую родню,
бетон тугой прорву,

пройду сквозь острый окрик твой,
сквозь арматуры неживой
железную траву.

В речную русую косу
вплетая память, понесусь, —
Не следуй по пятам! —

под белыми корнями пней
из царства призрачных теней,
к дельфинам и китам.

Ты взял в оковы ржавых труб
мои запястья, милый друг,
я — узник твой и раб.

Мне слышится Почайны хрип,
но снятся стайки пёстрых рыб
и яркий, красный краб,

в прожилках мраморных — волна.
Мне сумрачную явь от сна
не отделить: в глазах

достаточно немой слезы,
и на беззвучный мой призыв
придёт с полей гроза,

взметнётся в небо хлёсткий кнут,
и нас ни в чём не упрекнут
разбитые шоссе,

я створки окон распахну,
галеты хрупких крыш макну
в холодное глясе

и зашвырну браслет моста
в такие дальние места,
где не бывал и Тит!

Пойдёт ко дну ненужный хлам,
и горечь с горем пополам
пучина поглотит.

Какая, мой дружок, тоска —
лежать в асфальтовых тисках,
не удеру — умру!

Ты вспомнишь как-нибудь потом
о мутной речке под мостом
в Протасовом яру.

Ты полагаешь, это — месть?
Но так звучит благая весть:
плотину строй — не строй,

а горе льётся за края,
и в нём не помнится, что я
слыла твоей сестрой.

СМУРНЫЕ СНЫ

Мне снятся сны смурные иногда.
Вот набегает быстрая вода
на города, как сказано в легендах.
Я вижу щепки досок, башмаки,
плывущие во тьму, как челноки.
Улыбки на разбитых монументах.

На теле неба — солнечный ожог,
и не жалеет новый страшный Бог,
пришедший в мир, ни одного младенца.
Так хочется проснуться, но из сна
нет выхода. Ни двери, ни окна
из дома... Никуда, увы, не деться!

Бескрайний снег засыпал кромки крыш.
А на земле стоит такая тишь
звенящая, хоть мочку режь на ухе.
Во сне я просыпаюсь и кричу,
что примириться с этим не хочу,
но тонут звуки плача в белом пухе.

Тогда я жду, когда отхлынет сон.
Потом встаю, тяжёлая, как сом,
в гостиную иду в ночной рубахе
и говорю, что видела конец
всему. И отвечает мне отец,
на снег слепящий глядя:
«Это — страхи...»